

Андрей Федотов
Павел Успенский

Изнанка народной войны по версии Николая Некрасова: стихотворение *Так, служба! сам ты в той войне...* в дискурсах о 1812 годе*

Представления о войне 1812 г. в русской культуре окончательно оформились после 1860-х гг., когда Л. Толстой опубликовал *Войну и мир*. Именно по этому каноническому роману русское национальное воображение до сих пор рисует фактурный образ этой мифологизированной войны и представляет ее основных героев. Неотъемлемым признаком кампании стал ее народный характер, – 1812 год воспринимается как период, когда у нации – от Платона Каратаева до Пьера Безухова – обнаружились общие интересы и общие враги. Наполеона, и это в России знает всякий школьник, побили “дубиной народной войны”, что бы это ни значило.

Тем не менее на излете формалистского периода В. Шкловский упрекнул Толстого в том, что писатель – при всем своем новаторстве в области поэтики – предложил сугубо дворянскую версию эпохи 1812 г. и проигнорировал огромный потенциал народного, крестьянского материала. В самом деле, народ в разных его проявлениях – от стихийного сопротивления оккупационной армии до коллаборационизма, подогретого ожиданием “воли”, – практически полностью проигнорирован в эпосе, и Платон Каратаев эти лакуны не закрывает (Шкловский 1928: 69, 72, 128-130). Образ же народной войны был не изобретен Толстым, а полностью заимствован из сложившегося еще в первой половине XIX века нарратива. Его специфика – как и вообще всех больших нарративов о национальных военных победах – заключается в том, что противоречившие ему или даже уточнявшие его тексты, независимо от их имманентной силы, не имели шансов ни скорректировать его, ни тем более пошатнуть. Об одном из таких текстов и пойдет речь.

Стихотворение Н. Некрасова *Так, служба! сам ты в той войне...* (далее – *Так, служба!*) было опубликовано в 1856 в книге “Стихотворения” (автограф утрачен, сохранилась только авторизованная копия в так называемой “Солдатенковской тетради”, которая однако не содержит разночтений с печатным текстом). *Так, служба!*, в отличие от большинства других стихов поэта, предлагает читателю не посочувствовать человеку из народа, а ужаснуться его варварству и жестокости:

* Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2023 году.

– Так, служба! сам ты в той войне
Дрался – тебе и книги в руки,
Да дай сказать словцо и мне:
Мы сами дельвали штуки.

Как затесался к нам француз
Да увидал, что проку мало,
Пришел он, помнишь ты, в конфуз
И на попятный тотчас драло.
Поймали мы одну семью,
Отца да мать с тремя щенками.
Тотчас ухлопали мусью,
Не из фузеи – кулаками!
Жена давай вопить, стонать,
Рвет волоса, – глядим да тужим!
Жаль стало: топорищем хватъ –
И протянулась рядом с мужем!
Глядь: дети! Нет на них лица:
Ломают руки, воют, скачут,
Лепечут – не поймешь словца –
И в голос, бедненькие, плачут.
Слеза прошибла нас, ей-ей!
Как быть? Мы долго толковали,
Пришибли бедных поскорей
Да вместе всех и закопали...

Так вот что, служба! верь же мне:
Мы не сидели сложа руки,
И хоть не бились на войне,
А сами дельвали штуки!

(Некрасов 1981: 57)

Эти стихи – ролевые: весь текст представляет собой хвастливый рассказ крестьянина, говорящего от имени односельчан и отвечающего на оставшуюся за кадром реплику солдата, ветерана кампании 1812 г. Признавая заслуги и первенство “службы” (так в XIX в. называли простых солдат¹), крестьянин торопится поделиться историей своего вклада в победу, поскольку мужики “тоже дельвали штуки”. Иллюстрируя этот хвастливый тезис, он приводит кошмарную историю расправы над семьей плененного француза. Сначала крестьяне “ухлопали” главу семейства; вслед за тем жертвой становится жена – ее так “жаль стало”, что решили “хватить” ее топорищем. Слеза

¹ Ср. в *Рославлеве* Загоскина: “Эй, служба! – продолжал он, подзывая к себе солдата, который заряжал ружье, – где капитан Зарядьев?” (Загоскин 1902: 158).

“прошибает” мужиков и от вида плачущих “щенков”, детей француза, которых они тоже “пришибают поскорей” и закапывают вместе с родителями.

Таким образом, “штука” сводится к жестокому убийству безоружных и не сопротивляющихся людей, к расправе, о необходимости которой крестьянин ни разу не задумывается. Претензии, которые предъявляются убитым, ограничиваются лишь тем, что они говорят на непонятном языке (“лепечут – не поймешь словца”) и слишком эмоционально реагируют на гибель родных. Эти несуразные мотивировки и создают необходимую дистанцию между рассказчиком и читателем, который не может принять столь неоправданное и жестокое преступление.

Если соотносить текст с поэтической традицией, то, вероятно, в числе претекстов *Так, служба!* окажется лермонтовское *Бородино*². С учетом важности наследия Лермонтова для Некрасова³, близость темы и нарративной организации – ситуация диалога, разговорная речь, ролевая раскладка – двух текстов может быть неслучайной. В обоих стихотворениях военный аматер признает заслуги непосредственного участника сражений против наполеоновской армии. Однако стихи Некрасова не развивают идеи и мотивы Лермонтова, а наоборот, от них отталкиваются. Так, ветеран и его собеседник в *Так, служба!* противопоставлены не поколенчески, а социально: оба героя – участники кампании 1812 г., но свидетельствуют о ней из разных социальных перспектив. Фокус перенесен с ветерана на аматера, который, в отличие от лермонтовского героя (“богатыри не мы!”), отказывается признать второстепенность собственной роли и получает у Некрасова право голоса.

На фоне *Бородина* более выпукло проступает характер изображенного Некрасовым “подвига”. Лермонтовский “дядя” противостоял опасному и храброму врагу в кровавом, но честном ратоборстве, тогда как поступок некрасовского крестьянина иначе как подлым преступлением назвать нельзя, хотя сам герой этого и не понимает. Французская семья в рассказе мужика не представляет непосредственной опасности. Монолог не эксплицирует и угрозы ценностям крестьянина: не сказано, что “француз” оккупировал Россию, сжег Москву, надругался над церковью и т. п., – он лишь “затесался”. В диалоге со знаковым текстом Лермонтова *Так, служба!* создает альтернативную картину войны 1812 г.

² В свое время К.И. Чуковский предположил, что стихи Некрасова интонационно восходят к пушкинскому *Гусару* (Некрасов 1934: 632). Хотя сходство в самом деле обнаруживается на уровне нарративной модели (беседа с военным) и в обрамляющей просторечный рассказ реплике “Ты, хлопец, может быть, не трус, / Да глуп, а мы видали виды” (ср. “Мы сами дельвали штуки”), сами рассказанные истории не имеют друг с другом ничего общего. Многое отличает *Так, служба!* и от стихотворения Пушкина *Рефутация 2-на Беранжера*: несмотря на разговорную интонацию и бахвальство говорящего, субъект речи у Пушкина не простолюдин, а текст предлагает не частную историю, а генерализованный взгляд на события 1812 года. Сопоставление с *Бородиным* представляется нам более значимым и перспективным.

³ См. основательные рассуждения о лермонтовском пласте у Некрасова в: Гиппиус 1966: 247-262.

Однако такое прочтение *Так, служба!* не снимает всех вопросов к тексту. Стихи Некрасова, вынуждая читателя увидеть за конкретным эпизодом распространенную практику, проблематизируют статус народной войны и создают впечатление, что вопрос о ценностях русского крестьянина так же сложен, как и вопрос о его гуманности и доброте. *Бородино* никак не проясняет такой провокационный взгляд, и чтобы с ним разобраться, надо обратиться как к истории стихотворения, так и к дискурсу о войне 1812 г.

Сам автор считал *Так, служба!* не вполне удачным текстом. Готовя полное собрание своих стихотворений (в итоге ставшее посмертным), больной Некрасов датировал стихи 1846 г. и оставил следующую приписку: “Отнести в приложение. Не люблю этой пьесы, хотя буквально она верна – слышал рассказ очевидца Тучкова (впоследствии московского генерал-губернатора)” (Некрасов 1981: 591). Поздние автокомментарии Некрасова не всегда надежны. Несмотря на явно выраженную низкую оценку *Так, служба!*, Некрасов регулярно включал текст во все прижизненные издания своей поэзии, – видимо, недовольство, если и было, то сформировалось поздно и не объясняет десятилетней паузы между декларируемым временем создания стихов и временем их публикации.

Сомнительна и некрасовская ссылка на Тучкова. Едва ли П.А. Тучков (1803–1864) мог быть ‘очевидцем’ описанной в стихах расправы, поскольку в 1812 г. ему было 9 лет. Если П.А. Тучков и мог что-то рассказывать Некрасову, то вовсе не как свидетель, а лишь с чужих слов⁴. Вероятнее всего, Тучков черпал сведения о войне 1812 г. в рассказах своих знаменитых родственников – героев военной кампании против Наполеона⁵. На самом деле, ссылка на Тучкова не просто ненадежна, но и пара-

⁴ М. Макеев, первым усомнившийся в датировке стихотворения и автокомментарии Некрасова, предложил компромиссное решение – считать, что П.А. Тучков действительно рассказал историю, инспирировавшую текст *Так, служба!*, но позже, в 1850 г., когда поэт и чиновник близко общались. Такая трактовка, однако, не снимает противоречия в самом автокомментарии: по-прежнему неясно, как Тучков мог быть ‘очевидцем’ событий. Макеев, на наш взгляд, предлагает вольное допущение, согласно которому эту лексему “нужно понимать в более широком смысле: ‘человек, которому можно доверять’, ‘современник рассказанных событий’”. Однако такого значения у слова ‘очевидец’ никогда не было (Макеев 2012; ср.: СЦРЯ, III: 149; ТСЖВЯ, II: 804).

⁵ В собственных своих записках Тучков рассказывает об отце и его братьях, однако не приводит никаких военных эпизодов (Тучков 1881: 2). Не все знаменитые родственники претендуют на роль возможных свидетелей. П.А. Тучков (1776–1858) попал в плен в начале французского вторжения, еще до Бородина. Н.А. Тучков (1765–1812) и А.А. Тучков (1778–1812) получили смертельные ранения на Бородинском поле, а потому не застали той части кампании, для которой были особенно характерны крестьянские расправы над неприятелем. Очевидцами сцены, подобной той, что изображена у Некрасова, могли быть С.А. Тучков (1767–1839), еще один дядя, или А.А. Тучков (1766–1853), отец будущего генерал-губернатора: первый прошел часть кампании в действующей армии, второй – участвовал в формировании

доксально избыточна: хотя сцена крестьянской расправы необычно нюансирована у Некрасова, она в целом не выбивается из бытовавших нарративов о жестокостях народа в войне 1812 г. Устные рассказы безвозвратно утрачены, однако и заведомо неполные письменные свидетельства позволяют восстановить обобщенный образ воюющего народа в том виде, в каком он был дан Некрасову и его поколению.

Восстановим сперва в общих чертах особенности столкновений гражданского населения с французскими войсками в войну 1812 г., а затем реконструируем тот дискурс, из которого поэт мог знать об этих особенностях.

С исторической точки зрения рассказанная некрасовским крестьянином история не слишком неожиданна. Кампания 1812 г. была не только войной по правилам военного искусства, но также отличалась системными столкновениями между интервентами и мирным населением. Жестокие и часто неспровоцированные расправы как французов над крестьянами, так и мужиков над захватчиками были регулярными, о чем вспоминают многочисленные мемуаристы обеих воюющих сторон⁶. Француз-

ополчения и снабжении войск. Судить об их опыте сегодня трудно, потому что записки С.А. Тучкова доведены только до 1808 г., а А.А. Тучков вовсе не оставил мемуаров.

⁶ Вот лишь несколько свидетельств. Французские голоса: «К столь многочисленным бедствиям <...> следует присоединить еще сонм казаков и вооруженных крестьян, которые окружают нас. <...> Тех, кто удаляется с дороги с целью грабежа, убивают крестьяне. Есть и такие, которые покидают нарочно для того, чтобы быть убитыми или захваченными в плен казаками»; «Мы увидели повешенными на березе две отрубленные головы, очевидно, французские. Мы не могли понять, по какому случаю совершено это варварство и почему эти головы не убраны, так как они производили дурное впечатление на солдат. Умирать на поле сражения неудивительно, но подвергаться такого рода беспричинной жестокости – значит иметь дело с варварами» (Васютинский *и др.* 2012, I-II: 526, 557. См. также Васютинский *и др.* 2012, III: 81-82).

Русские голоса: «Наконец народное ожесточение к незванным гостям достигло высочайшей степени. Французов и всех с ними пришельцев крестьяне не почитали людьми, и кто попадался в их руки, хотя и безоружный, били насмерть без всякого милосердия <...> В Гжатском уезде, поблизости наполеоновского тракта в Москву, один харчевник указывал мне на небольшой лесок, <...> где, по его словам, схоронена не одна сотня таких жертв. Вот собственные слова крестьянина: ‘Устали руки бить их, проклятых! Да убить-то, барин, еще не трудно; а хоронить тяжело: велят от заразы жечь или глубже закапывать. Вот мы и придумали средство. Нахватаем их человек десяток и поведем в этот лесок. Там раздадим им лопатки да и скажем: ну, мусье! ройте себе могилки! Чуть кто выроет, то и свистнешь его дубинкой в голову, а другому и приказываешь: ну, мусье! зарывай скорей да себе рой! Что ж бы вы думали? Иной лепечет, черт его знает, что; а плачет как человек и смотрит в небо и даже крестится... Да наших не обманешь! Алён марш! – и хлоп его по голове’»; «Они не ушли за своими и грабили наше последнее добро. Но вспомнил себя народ, остервенился и ринулся на неприятелей. Их бросали в огонь или в Днепр с высоты берегов. Они, несчастные, кричат, и наши кричат, а пожар все разгорается. Просто ад кромешный кипел на улицах»; «Они и к нам пожаловали. Как въехали они на господский двор, один из наших мужичков, уж больно на них он был зол, схватил оглоблю и бросился за ними. ‘Кого могу, – говорит, – того и положу’. <...> А французы

ская армия была вынуждена фуражироваться в русских деревнях и зачастую сталкивалась с сопротивлением населения. В Москве мародерство, видимо, быстро стало неконтролируемым и обернулось проблемой в том числе и для французского командования. Особой жестокостью по отношению к иностранцам был отмечен период зимнего отступления Наполеона, когда его обескровленная и лишенная боеспособности армия подвергалась атакам не только организованных партизанских отрядов, но и вооруженных крестьян.

Действительно диковинной Некрасовскую историю делает семья француза, которая на первый взгляд кажется неуместной в военном контексте. Однако с исторической точки зрения в ней нет ничего удивительного. Во-первых, Наполеон вел за собой корпус чиновников, которые часто были с семьями. Во-вторых, вместе с армией из Москвы отступали многочисленные французские эмигранты, небезосновательно опасавшиеся за свою судьбу после освобождения города⁷. Свидетельства о расправах над семьями в историографии чрезвычайно редки. Вместе с тем, сочетание задокументированной крестьянской жестокости и факта присутствия женщин и детей во французском корпусе делает такую ситуацию вполне правдоподобной. Иногда, впрочем, в мемуаристике встречаются описания ситуаций, очень близких, хотя и не тождественных той, что была описана Некрасовым. Так, например, одна француженка вспоминала о знакомом польском артисте: «Во время одного нападения он был схвачен и убит на глазах своей семьи. Несчастной супруге удалось убе-

все больше стали приставать да грабить, как есть последний кусок изо рта отнимали, и восстали на них крестьяне. Сколько их здесь, сердечных, головы сложило! В одном Петрово убили сорок два человека» (Мартынов 2012: 97-98; 56; 105).

⁷ «Огромное количество женщин, сопровождавших нашу армию, с невероятной жадностью запаслись всем, чем только было возможно, чтобы во время нашего возвращения продавать нам же все это втридорога... Они рыскали по городу, нагруженные вином, ликерами, кофе и дорогими мехами»; «В этом же самом обозе находились многие бежавшие от революции французы со своими семьями, которые под покровительством императора снова возвращались на родину – ничего больше им не оставалось делать. <...> Может быть, для них было бы лучше выехать раньше, но как они могли на это решиться, не будучи уверены в том, что их не схватят бродившие вокруг казаки или крестьяне и не лишат жизни?» (Васютинский и др. 2012, I-II: 339-340; 458). См. также о «женатых солдатах» (*Там же*: 464). «Большинство наших знакомых, отправившихся вместе с французами из Москвы, погибло от голода, холода или меча русских. Преимущественно женщины, несчастные матери, находили смерть среди самых ужасных страданий. И моя жена, мой сын были там!.. Мадам Вертейль, хорошенькая актриса, отважилась отправиться в путь с двумя детьми, беременная третьим. Одного из них она лишилась в суматохе около Вязьмы, другой умер на дороге от истощения»; «Большая армия несет на себе ответственность своих же военных и политических ошибок <...>, но женщины, – те шли за нами из любви и привязанности, а некоторые просто из страха мести со стороны русских, – женщины достойны были лучшей участи и большей мягкости. Мне пришлось встретить женщин и милых, и интересных, варварски жестоко покинутых офицерами, занимавшими видные посты...» (Васютинский и др. 2012, III: 53; 55-56. См. также: Аскиноф 2012).

жать, но она сошла с ума от этой ужасной сцены, а их ребенок умер от голода и холода” (Васютинский и др. 2012, III: 364).

Впрочем, конкретно эти случаи не могли быть известны Некрасову из тех источников, на которые мы сослались, – все они были опубликованы либо на французском, которым поэт не вполне владел, либо уже после создания стихотворения. Вообще, описания исключительно жестокого насилия стали проникать в поздние воспоминания, которые печатались с 1860-х гг. на волне коллективного ощущения, что последние современники героической эпохи уходят и потому важно зафиксировать любые свидетельства, в том числе, и ‘обывателей’⁸.

Однако дискурс, позволявший представить и смоделировать описанную в *Так, служба!* ситуацию, к концу 1840-х гг. уже определенно существовал. Более того, этот дискурс был настолько развит, что последняя необходимость в Тучкове как “очевидце” отпадает. Далее, оставляя в стороне вопросы фактологии войны 1812 г., мы будем оперировать только теми источниками, которые формировали этот дискурс и были доступны Некрасову. Иными словами, от реконструкции исторической основы стихотворения мы перейдем к анализу дискурсивного поля, в силовом напряжении которого эти стихи стали возможными.

В России нарратив о войне 1812 г. начал складываться по свежим следам и стабилизировался к концу 1830-х гг. (см. подробнее: Тартаковский 1980). Символической точкой в формировании официального мифа стали события 1839 г., когда в присутствии императора Николая I и митрополита Филарета на Бородинском поле был торжественно открыт монумент героям сражения.

По мере кристаллизации этого дискурса в мемуарах участников, художественных произведениях и официальной историографии возникают повторяющиеся паттерны осмысления борьбы с Наполеоном. В отличие от доблести русских офицеров и патриотических порывов солдат, крестьянская жестокость среди этих паттернов не занимает центрального положения, хотя и не вовсе вытеснена, как, например, мародерство русских среди своих сограждан или проституция. В раннем дискурсе крестьянское насилие если и описывалось, то всегда каким-либо образом оправдывалось – либо нечеловеческой сущностью врага, либо необходимостью военного времени и “народной войной”, либо патриотическими чувствами русской нации, которая как раз незадолго до событий 1812 г. и была изобретена, а в 1812 г. была испытана на прочность⁹. Рассмотрим подробнее эти оправдания.

⁸ Характерно, однако, что в поздних рассказах крестьян и мещан такое чрезмерное насилие часто осуждается, и на первый план выходит наоборот сочувствие бедствующим французам (см. Мартынов 2012: 50, 60, 107, 245. Об истории мемуаров о 1812 г. см. Тартаковский 1980).

⁹ Мы понимаем здесь нацию в традициях конструктивизма (см., например, Андресон 2016; Hobsbawm, Ranger 2012). Нация – в известном смысле искусственный, интеллектуальный конструкт, воображаемое сообщество, существование и деятельность которого однако

В первую очередь надо обратиться к архетипическому, сложившемуся еще до начала военной кампании, фольклорному представлению о враге, характерному для самих крестьян. Эти представления легли в основу новых и синхронных войн-не фольклорных нарративов, созданных крестьянами для крестьян. В исторических и солдатских песнях враг, какой бы национальности он ни был, всегда предстает 'басурманином', то есть существом не 'наших' ценностей и не 'нашей' религии. Он оскорбляет родную землю уже самим фактом своего присутствия. К тому же он 'нем', не владеет русской, то есть нормальной речью. Поэтому в народной словесности он изображался не вполне человеком, нечистым существом, на которое не распространяются требования доброты и гуманности. Отсюда – один шаг до полного расчеловечивания и уподобления интервента 'чудищу', 'собаке' и проч., который в самом деле был совершен в русском фольклоре. В народном сознании, таким образом, врага необходимо убить даже не потому, что он опасен, но потому что он – омерзительный 'чужак' (Чудинов 2012).

Уже после начала французского вторжения фольклорные представления оказались чрезвычайно востребованы в текстах (в том числе, визуальных), адресованных, в частности, крестьянам, но созданных дворянами или представителями власти. Речь здесь в первую очередь идет о военном лубке и карикатурах, обильно тиражировавшихся, например, журналом "Сын Отечества" (Вишленкова 2011: 155-209; см. также: Мускатблит 1912). На этих картинках враг зачастую изображался именно в виде ничтожного и смехотворного создания, истребляемого смелым и сильным русским воином и/или мужиком. К образу 'басурманина' прибегает и Федор Ростопчин в своих знаменитых афишах (Росточин 1992: 209-221)¹⁰. Лубок и афиши-воззвания усложняли народное представление о враге дополнительными аргументами. Самый главный из них заключался в том, что француз – враг не только русского народа, но и православной (в сущности же – вообще христианской) церкви. Такой нажим на религиозное чувство русского мужика, вероятно, неплохо работал, учитывая частотность одной темы: французская армия использовала церкви для постоя солдат и лошадей, а также без должного уважения относилась к святыням. Вне зависимости от того, насколько эти сведения соотносились с реальностью, святотатство французов стало устойчи-

приводит к вполне реальным последствиям. Иными словами противоречия между нацией – как центром приложения усилий интеллектуальной элиты и нацией как 'реальным' субъектом истории для нас не существенны. Конкретный исторический сюжет об изобретении русской нации рассмотрен, например, в исследованиях: (Зорин 2001: гл. V-VII; Живов 2008). Визуальные аспекты оформления 'русскости' в XIX в. обсуждаются в: Вишленкова 2011.

¹⁰ Об афишах Ростопчина см. Кондратенко 2012. При этом, как показал В. Парсамов, Ростопчин видел свою задачу не столько в организации народной войны, сколько в том, чтобы не допустить крестьянского мятежа (Парсамов 2012). На этом основании, с точки зрения исследователя, сложился и конфликт между московским градоначальником и М. Кутузовым, реально понявшим потенциал народного сопротивления и наполнившим риторическую пуштышку 'народной войны' фактическим содержанием.

вым топосом 1812 г. и было закреплено в образе Наполеона-Антихриста (см. множество примеров в: Гаспаров 1999: 82-117; Сазова 2012).

В свою очередь, мобилизационные тексты-воззвания 1812 г. уже содержали наброски той идеи, которая легла впоследствии в основу мифа об изгнании Наполеона. Согласно этой идее, угроза утратить то, что одинаково ценно для любого русского (Москву и вообще родину), впервые в истории России привела к отмене сословных границ, транссословной солидарности и в конечном счете – к торжеству русской нации¹¹. Рано возникающий образ народной войны в сущности и утверждал народ как коллективное тело, как социум, в котором у всех одни аффекты, но разные функции¹². Такая конструкция позволяла канонизировать одновременно и ратника Карнюшку Чихирина из ростопчинской афишки, и генерала Багратиона, и партизана Давыдова, и кавалерист-девицу Дурову (а впоследствии еще и Наташу Ростову).

Наконец, в послевоенной – разумеется, дворянской – литературе разных жанров и разной прагматики именно патриотическое единение нации выходит на первый план. В глазах сочинителей оно так значимо и масштабно, что оправдывает все возможные гуманитарные издержки. Мемуаристика, историография, а вслед за ними и художественная литература будут говорить о расправах над отступающими французами главным образом как о справедливом возмездии за поруганное патриотическое чувство русского народа. Все материальные, архаично-фольклорные и даже религиозные мотивировки в этом контексте отойдут на второй план. Обратимся к нескольким характерным примерам, которые могли быть известны Некрасову, т.е. были опубликованы до середины 1840-х гг. на русском языке.

¹¹ Из перспективы романтического национализма первой трети XIX в. такое объединяющее нацию событие произошло раньше – в 1612 г., во время польской интервенции и, соответственно, ополчения Минина и Пожарского. Однако собственно моментом рождения нации является момент возникновения политического дискурса, оперирующего этим понятием, какое бы событие ни ‘назначалось’ задним числом датой рождения нации в рамках этого дискурса (см. Зорин 2001: 157-186; Киселева 2004; Велижев, Лавринович 2003).

¹² Как показал В. Парсамов (2012), концепт народной войны не просто был искусственным, но и во многом формировался связанными с Россией французскими интеллектуалами, стремившимися как-то объяснить поражение Наполеона, в первую очередь – Ж. де Сталь, Ж. де Местром и Г.-Ф. Фабером. В их построениях варвары–русские противопоставлялись просвещенным французам, но само варварство в руссоистском ключе наделялось положительными коннотациями. Русские авторы охотно подхватывали идею ‘добродетельного варварства’ как ключевого элемента русской идентичности. Так, этот концепт используется в записях А. Оленина, опубликованных, впрочем, уже после его смерти в 1868 г. См. сходные наблюдения в неопубликованной статье А. Курилкина, рукопись которой доступна на портале Academia.edu *Варвары: из истории культурного самоопределения российского общества* (<https://www.academia.edu/50165509>).

В многочисленных воспоминаниях участников кампании 1812 г. обнаруживаются свидетельства крестьянской самоорганизации и сопротивления интервентам¹³. Например, Ф. Глинка писал о том, как одна крестьянка “убила древесным суком француза, поранившего ее мать” (Глинка 1821: 88). С. Глинка вспоминал о “воинах-земледельцах” Воскресенска, спрятавших в лесах жен, младенцев и стариков и единодушно вставших на защиту России: “Вооруженные поселяне неоднократно прогоняли неприятельские отряды, <...> часто отражали их от самого Воскресенска, неоднократно бывали в сражениях одни и с козаками”; крестьяне смогли убить, ранить или взять в плен две тысячи французов (Глинка 1836: 113-114).

Об “озлобленном, вооруженном и кипящем мщением” народе писал партизан Д. Давыдов (1982: 140)¹⁴. Командир со своим отрядом несколько раз подвергался нападениям крестьян, поскольку партизан принимали за французов: “К каждому селению один из нас принужден был подъезжать и говорить жителям, что мы русские, что мы пришли на помощь к ним и на защиту православной церкви. Часто ответом нам был выстрел или пущенный с размаха топор”. Давыдов приводит и другой пример “остервенения поселян на врагов отечества и, вместе с сим, бескорыстия их”: крестьяне села Егорьевского истребили команду Тептярского казачьего полка, приняв казаков за интервентов (Давыдов 1982: 163-164). В некоторых эпизодах Давыдов подчеркивает присущий крестьянам рациональный гуманизм, но одновременно походя и как будто случайно обращает внимание на присущую им жестокость:

Спустя несколько часов после казни преступника крестьяне окружающих сел привели ко мне шесть французских бродяг. Это меня удивило, ибо до того времени они не приводили ко мне ни одного пленного, разделявая с ними по-свойски и сами собою. Несчастные сии <...> не избегли бы такого же рода смерти, <...> если бы топот лошадей и многоядный разговор на русском языке не известили крестьян о приходе моей партии. Убийство было уже бесполезным; они решились представить узников своих на мою волю <курсив наш – А.Ф., П.У>” (Давыдов 1982: 192).

Отношение самого Давыдова к пленным непоследовательно. Так, Давыдов спасает юного французского барабанщика, осуждает А. Фигнера за убийство пленных

¹³ Далее мы обратимся к русским свидетельствам, но отметим, что о насилии крестьян писали и французы, причем некоторые сочинения были переведены на русский язык в 1830–1840-е гг (см. Пюибюск 1833: 49; Сегюр 2014: 322).

Библиография воспоминаний о войне 1812 г. содержит сотни позиций, однако важно понимать, что большая часть текстов была опубликована во второй половине XIX – начале XX вв. (см. Зайончковский 1977). Те же мемуары, что были опубликованы в первой половине XIX века регулярно отмечают роль народа в войне с Наполеоном, но далеко не всегда фиксируют сцены крестьянских расправ над неприятелем.

¹⁴ Воспоминания Давыдова впервые появились в печати в 1820 г. (список изданий см. Тартаковский 1980: 268, № 41).

и произносит патетическую речь против такого негуманного отношения к противнику. Вместе с тем он учит крестьян, как погубить французов обманом: “Уложите спать пьяными и, когда приметите, что они точно заснули, <...> совершите то, что бог повелел совершать с врагами христовой церкви и вашей родины” (Давыдов 1982: 193, 203, 165).

Весьма натуралистические свидетельства приводит И. Радожицкий¹⁵. Вот, например, впечатляющая история расправы крестьян над французами:

Заметив несколько французских бродяг, зашедших в пустые избы, они <крестьяне – А.Ф., П.У.> тотчас собирались вокруг домов, заваливали двери, и, обложив соломой, угрожали сжечь, если не спардонятся. “Таким способом – говорил другой воин-мужичок – к нашему выборному залезли в избу трое французишков; вот мы, слышь ты, их окружили, и пукотом зажженной соломой грозили запалить; тогда они закричали: Пардон! помилуйте! – Выборный, взявши топор под руку, стал сбоку у двери и крикнул: Ну, пардон! вылезай вон! – Вот один высунул из дверей голову; выборный хват его топором – и тот свалился. Немного погодя, полез другой и высунул руки; выборный и этого сшиб. Третий долго не хотел выходить, хотя его стращали огнем. Ну, не бойсь, тебя помилуем, сказали ему. – Что делать! полез сердечный, только не головой, а высунул сперва ноги; выборный хватил его по ногам, а мы придушили. – Из наших, продолжал мужик, у иных была такая охотишка бить этого поганого зверя, что для охоты покупали их у казаков (Радожицкий 1835: 240).

В другом фрагменте записок Радожицкий (1835: 241–243) подробно описывает, как крестьяне хитростью расправились с двумя “французскими латниками”, причем их убийство сопоставлено с охотой на медведя. Мемуарист также приводит свидетельство женского вклада в народное сопротивление: “Однажды встретили мы двух русских баб, которые гнали дубинами, одна впереди, а другая позади, десятка три оборванных, полумерзлых французов” (Радожицкий 1835: 281).

Проявления народной жестокости трактуются Радожицким двояко. С одной стороны, он полагает, что “тысячи примеров явили тогда в народе русском истинных сынов и героев отечества”. Вместе с тем, с его точки зрения, “нельзя было не содрогаться ожесточению русского народа против своих разорителей: возбужденный фанатизм выходил за пределы человечества. Так в народной войне исчезают всякие правила, и неприятели следуют единственно побуждению ожесточенного сердца – истреблять друг друга утонченным варварством” (Радожицкий 1835: 201, 243).

Противоречивый характер народной войны осмыслялся и в художественной литературе. До появления *Войны и мира* самым популярным романом о войне с Наполеоном был бестселлер М. Загоскина *Рославлев, или Русские в 1812 году*, впервые опубликованный в 1831 г.

¹⁵ Воспоминания Радожицкого впервые были опубликованы в журнале “Отечественные записки” в 1823 г. (см. справку: Тартаковский 1980: 271, №80).

Разумеется, это было не единственное художественное произведение о 1812 г. В определяющие для формирования мифа десятилетие был написан целый ряд романов и повестей об антинаполеоновской кампании (Глухарев 1832; Зотов 1832; Герасимов 1833; Р1812; Чуровский 1837; Бороградский 1839; БП и др.). По нашим наблюдениям, *Рославлев* предопределил все ключевые конструктивные особенности, темы и мотивы литературы в период кристаллизации мифа об Отечественной войне, т.е. в 1830-е гг. Далее поэтому мы сосредоточимся именно на романе Загоскина, а на сходные коллизии из других текстов укажем в примечаниях.

Рославлев, воплощающий ключевые идеи имперского национализма (Ящук 2022: 53-62, 75-82), уделяет пристальное внимание народному сопротивлению. Вооружившиеся крестьяне, по определению одного из военных начальников, – “чудо-богатыри”, тогда как французы в сознании простых героев последовательно расчеловечиваются: они сравниваются то с “саранчой заморской”, то с “мухами”, которых надо истреблять, то с “медведями”, на которых объявлена охота (Загоскин 1902: 312, 172, 192, 298, 225)¹⁶. Мужики, вдохновленные афишами Ростопчина, готовы на любую жестокость, и это однажды подталкивает нарратора также уподобить их животным: крестьяне, которые после одного сражения собираются расправиться с пленными, названы “дикими зверями” (*Там же*: 224, 309).

Изобретательность крестьян в формах насилия особенно рельефно проявляется в эпизоде пленения Рославлева, по ошибке принятого за француза. Сначала крестьяне хотят повесить Рославлева, однако жалуют веревки и решают бросить его “в колодезь к товарищам”. Однако и этот вариант не устраивает мужиков: “Да что вам дался колодезь? – перервал Ерема, – И так все колодцы перепортили. Много ли ему надобно? Эй, Ваня, что ты смотришь басурману-то в зубы? Обухом его!” Сам Ерема, видя бездействие задумавшихся товарищей, и вовсе готов расправиться с Рославлевым с помощью ножа (*Там же*: 299–301)¹⁷. Вместе с тем, несмотря на готовность к убийству, “воины-земледельцы” поданы справедливыми и мудрыми. Все-таки поверив словам пленного, они выясняют истину и обнаруживают в Рославлеве русского дворянина и истинного христианина, после чего предлагают ему возглавить ополчение. Сюжет, таким образом, подталкивает осмыслить мужиков не просто как патриотов, но и как

¹⁶ В одном из романов французы названы “двуногими волками” (Герасимов 1833, II: 146).

¹⁷ Изобретательность крестьян в способах истребления неприятелей в литературе не имеет пределов. Крестьяне нападают на врагов “с дубьем и рогатинами” (Бороградский 1839: 189-190). Староста Влас предлагает барину Добромирскому удавить пойманного ими француза-насилльника, прибить его “хворостинкой по лбу” или отвести его “лучше в болото” (Герасимов 1833, II: 151-152). Другой староста предлагает полковнику выкупить французских пленных, чтобы молодые люди поучились стрелять (Зотов 1832, IV: 121). Словом, ненависть крестьян к врагам “иногда простиралась даже до неистовства” (Чуровский 1837, III: 6), или пользуясь словами Р. Зотова, “изобретаемые ими <крестьянами. – А. Ф., П. У.> мучения были ужасны, и уже никакие мольбы, никакое сожаление не могли спасти несчастных” (Зотов 1832, IV: 79).

людей, которые, несмотря на свою горячность и готовность к кровопролитию, стараются его избежать и судят по совести.

В *Рославле* крестьянская жестокость соотнесена с идеей народной войны и народного возмездия:

С каждым днем возрастала народная ненависть к французам. Буйные поступки солдат, начинавших уже забывать всю подчиненность, сожжение Москвы, а более всего осквернение церквей, сначала ограбленных, а потом превращенных в магазины и конюшни, довело наконец эту ненависть до какого-то иступления. Убить просто француза – казалось для русского крестьянина уже делом слишком обыкновенным; все роды смертей, одна другой ужаснее, ожидали несчастных неприятельских солдат, захваченных вооруженными толпами крестьян (*Там же*: 256–257).

Однако народный гнев и здесь оценивается двойственно. Идеологически как неизбежную форму народной войны ее оправдывает даже Рославлев в беседе со своей невестой:

До чего дойдет ожесточение русских, когда в глазах народа убийство и мщение превратятся в добродетели, и всякое сожаление к французам будет казаться предательством и изменой. <...> Стараться истреблять всеми способами неприятеля, убивать до тех пор, пока не убьют самого, – вот в чем состоит народная война и вот чего добиваются Наполеон и его французы. Переступив однажды за нашу границу, они не должны уже и думать о мире. Да, Полина, в этой войне середины быть не может; они должны или превратить всю Россию в обширное кладбище, или все погибнуть (*Там же*: 118).

Вместе с тем герои романа не принимают расправ над безоружными. Так, один из персонажей ужаснулся когда узнал, что в его партизанском отряде ночью убили пленных: “У Зарецкого сердце замерло от ужаса; он взглянул с отвращением на своих товарищей” (*Там же*: 261).

В романе также подчеркнуто, что разделяющий гнев народа Рославлев заблуждается и что ценности гуманизма остаются важными и во время войны. В уста Сурского, друга главного героя, вложена следующая идейно нагруженная реплика:

Как русский, ты станешь драться до последней капли крови с врагами нашего отечества, как верноподданный – умрешь, защищая своего государя; но если безоружный неприятель будет иметь нужду в твоей помощи, то кто бы он ни был, он, верно, найдет в тебе человека, для которого сострадание никогда не было чуждой добродетелью. Простой народ почти везде одинаков; но французы называют нас всех варварами. Постараемся же доказать им не фразами, <...> а на самом деле, что они ошибаются (*Там же*: 120).

И в самом деле, в романе Рославлев последовательно предстает глубоко чувствующим, благородным и справедливым человеком. В отличие от крестьян-ополченцев,

ему не приходится распоряжаться судьбой схваченных врагов, и, соответственно, его 'праведный' гнев и этические правила не вступают в противоречие¹⁸.

Такая конструкция создает в романе остранный взгляд на крестьянскую жестокость. Избыточное насилие оказывается присущим народу и совсем фанатичным и отталкивающим персонажам, и хотя в целом оно оправдано исторической ситуацией, однако противоречит кодексу истинного дворянина-патриота. Загоскин, таким образом, в духе романтического национализма подчеркивает сходство между разными условиями, объединенными в ситуации войны общей патриотической целью. Вместе с тем писатель сохраняет дистанцию между дворянами и крестьянами, предполагая, что вторые относятся к антропологически иному типу и нуждаются не только в восхищении, но и в руководстве со стороны дворян, которого они сами ищут (ср. с сюжетом, когда Рославлев становится предводителем воинов-поселян). В основе этой идеи, конечно, лежат представления Загоскина о незыблемой и морально обоснованной социальной иерархии, внизу которой находятся крестьяне, а наверху – царь.

Наконец, официальная историография также обращала внимание на крестьянскую жестокость, хотя в большей степени ее интересовали военачальники, маневры и общий ход военного противостояния. Основательное *Описание Отечественной войны 1812 года...* А. Михайловского-Данилевского (первое издание – 1839 г.) мы рассмотрим как наиболее репрезентативный источник, однако будем помнить, что это не единственный исторический труд о наполеоновской кампании¹⁹. У Михайловского-Данилевского приводится много сведений о крестьянских расправах, которые подаются как народное возмездие интервентам и как ответ на их насилие. Официальный историограф в целом оправдывает подобные практики:

Когда французы бывали в превосходном числе, в таком случае против них употреблялись разные хитрости. Ласково, с поклонами встречая бродяг и фуражиров, поселяне предлагали им яства и напитки, и потом, во время сна, или опьянения гостей, отнимали у них оружие, душили их, либо выждав, когда неприятели уснут, припирали двери домов бревнами, окладывали сени хворостом и зажигали их, тешась криком и воплем незваных гостей Московского Царства, горевших вместе с избами. <...> Иногда крестьяне зарывали пленных живыми в землю, или убивали их как хищных зверей. Иноземцы, шедшие против Бога и Руси, перестали в понятии народа казаться людьми; всякое мщение против них почитали не только позволительным, но законным, угодным Небу (Михайловский–Данилевский 1843: 115).

¹⁸ Дворяне, противопоставленные крестьянам и требующие гуманного отношения к поверженным французам встречаются также в (Бороградский 1839; Зотов 1832, IV; Герасимов 1833, II).

¹⁹ Обзор взглядов историографов XIX в. см. Бессонов 2012: 81–83. Официальная трактовка народной войны и, шире, тотального единения нации (не отличающаяся оригинальностью) быстро проникла в учебники; см., например, Кайданов 1829: 458–459.

Говоря о чрезмерном насилии, историк не упускал случая подчеркнуть (не осуждая) исключительный характер происходящего:

В Медынском уезде ожесточение крестьян против неприятеля достигло до высочайшей степени; изобретались самые мучительные казни; пленных ставили в ряды и по очереди рубили им головы; живых сажали в пруды и колодцы, сжигали в избах и овинах. Один волостной староста просил проезжающего офицера научить его, какую смертью карать французов, потому что он уже истощил над ними все известные ему роды смертей (*Там же*: 125).

Вместе с тем Михайловский-Данилевский считал необходимым подчеркнуть, что насилие как таковое для русских крестьян не характерно и не лежит в основе их природы, а является лишь ответом на военную агрессию. В *Описании Отечественной войны...*, таким образом, создавалась своеобразная модель оправдания насилия: бесконтрольную жестокость крестьяне проявляли только по отношению к интервентам, а в целом для них характерна любовь к сложившемуся социальному порядку и государственной власти, верность которой они готовы сохранять даже в ее фактическое отсутствие²⁰. Так Михайловский-Данилевский, купируя возможные положительные коннотации крестьянских бунтов и стихии народного восстания, подавал жестокость как нечто чуждое русскому крестьянину.

Итак, мы видим, что в дискурсе о войне 1812 г. изуверство крестьян не было эпатирующей экзотикой и всегда присутствовало фоново (а потому поэту, решившему изобразить сцену убийства, не нужны рассказы современников событий). Народные расправы над французами, как мы показали выше, подавались в двойственном ключе. Участники кампании и ее свидетели – люди первой трети XIX века – с восхищением открывали для себя русскую нацию, объединенную порывом изгнать интервентов. Народная война воспринималась как торжество русскости, а загадочный и неведомый крестьянин оказывался таким же патриотом, как и доблестный дворянский офицер. Вместе с тем крестьяне по-прежнему воспринимались как *другие*, и поэтому в нарративах о войне так или иначе формировалась дистанция по отношению к их боевым практикам. Конечно, иногда темная сторона мужика игнорировалась, как в записках С. Глинки, предпочитавшего исключительно героическую модальность. Однако, как мы видим, во многих текстах переход от панегирика народу к иллюстрациям его подвигов вызывал определенные затруднения. Проблема крестьянского насилия либо

²⁰ “Восстание Русского народа представляет зрелище величественное, но оно тем еще достославнее, что нигде в губерниях, прилегавших к театру губительнейшей из войн, <...> не были нарушены законы. <...> Повиновались тому, в ком полагали наиболее пламенной любви к Вере и Монарху, более ненависти к чужеземному игу, грозившему России. <...> При удивительном единодушии, воспламенявшем все сословия, не колебалась безусловная покорность властям. <...> великое ручательство силы Государства – покорность начальству и помещикам, ни в каком случае не прерывалась” (Михайловский-Данилевский 1843: 120-121).

проговаривалась, но не акцентировалась, как у Давыдова, либо требовала объяснений и оправданий, как у Раджицкого, Загоскина и Михайловского-Данилевского.

Поэтика привлеченных прозаических нарративов позволяла разместить изверские крестьянские расправы в своеобразной серой зоне. Описывая их как феномен, авторы одновременно встраивали их в разветвленную сеть военных эпизодов и, соответственно, в богатую смысловую полифонию войны 1812 г. Сами возможности прозы – смена точек зрения, изменение регистров, рассказ в рассказе и т. п. – позволяли говорить о насилии народа так, чтобы оно воспринималось как часть общей картины, а не как моральная проблема конкретных ополченцев. Неслучайно во всех приведенных примерах нет погружения в сознание крестьян и, соответственно, их внутренние мотивировки поступить так, а не иначе остаются неизвестными.

В *Так, служба!* Некрасов сдвигает сложившиеся дискурсивные тенденции. То, что в традиционном дискурсе было лишь фоном, поэт ставит в центр произведения, сталкивая читателя с подробным рассказом о жестокой расправе крестьян над французской семьей. И хотя Некрасов, как и его предшественники, не проникает в мужицкое сознание, подслушанный и как бы не адресованный читателю рассказ именно у читателя неизбежно провоцирует этическую реакцию. В отличие от калейдоскопической прозы о 1812 г., *Так, служба!* фокусируется на единственной истории и оставляет читателя наедине именно с ней, отсекая как большой военный нарратив, так и оправдания, уточнения и противоположные примеры народного поведения (все это только подразумевается как фоновое знание о военной кампании).

Некрасов, с нашей точки зрения, предпринимает ревизию восприятия войны 1812 г. и выступает здесь как человек нового поколения, не заставший войну даже в детстве. Поэт – и это типичная черта лирики Некрасова – претендует на более нюансированное, более правдивое и эксклюзивное знание о народе. В отличие от современников наполеоновского вторжения, Некрасов проблематизирует народ, видя в нем носителей нерелективного, темного сознания, жестоких и страшных людей. Рассказанная в *Так, служба!* история должна была шокировать читателя потому, что она подрывала его нормализованные представления о ‘воинах-земледельцах’: расчеловечивающее мышление некрасовского крестьянина для читателя оборачивается против героя, вынуждает именно в нем, а не во французах, увидеть зверя.

Как показывает журнальный отклик Вс. Крестовского, некоторые современники Некрасова остро чувствовали эту цель стихотворения:

Ведь не шутя мороз продирает по коже, становится страшно от этой голой, ужасающей правды. Ведь нельзя отказаться: это наше, это наша жизнь, или, по крайней мере, один из ее заурядно-характерных эпизодов. В основе этой вещи лежит страшное понимание русской жизни <...> Эта странная, но жизненная смесь зверства, удалой похвальбы этим зверством и совершенно человеческого чувства жалости, сострадания, сожаления – вполне свойственны нашему серому человеку (Крестовский 1861: 64).

Некрасовское “страшное понимание русской жизни” в определенном смысле предвосхищает перерождение народа в русской литературе 1860-1870-х гг., и некрасовский крестьянин может восприниматься как предок мужиков из рассказов Н. Успенского, арестантов из *Записок из мертвого дома*, Федьки Каторжного из *Бесов* или Тишки Щербатого из *Войны и мира*. Хотя *Так, служба!* точно было написано раньше этих произведений, время его создания наверняка не известно.

Напомним, что Некрасов незадолго до смерти датировал стихотворение 1846 г. Эта версия может вызывать сомнения. Так, М. Макеев (2012) предложил считать, что текст был создан в 1850 г., когда поэт мог тесно общаться с П. Тучковым. Но наш анализ дискурсов о войне 1812 г. демонстрирует, что для текста о крестьянских зверствах в эпоху антинаполеоновской кампании не было никакой необходимости в эксклюзивных историях современников. В то же время этот факт сам по себе не поддерживает некрасовскую датировку, а лишь возвращает нас к вопросу о времени создания текста. Заметим, что именно во второй половине 1840-х гг. Некрасов сочинил ряд провокационных шедевров, впервые громко заявивших о его претензиях на поэтическое новаторство (см. Успенский, Федотов 2019; 2024). В таком контексте создание еще одного эпатазирующего стихотворения об узловом и недавнем событии национальной истории кажется вполне закономерным.

Однако в отличие от *В дороге*, *Колыбельной песни*, *Тройки* стихотворение *Так, служба!* не было напечатано в этот период. Был или не был поэт уже тогда недоволен текстом, мы не знаем, но если верить его поздней датировке, он отложил публикацию стихотворения на целое десятилетие. Напрашивается предположить, что ‘подходящим’ временем для создания *Так, служба!* мог быть период Крымской кампании.

Как известно, война 1853-1856 гг. резко актуализировала в политической риторике, поэзии и общественном сознании миф о 1812 г. Государственная риторика активно эксплуатировала сравнения новой войны с событиями сорокалетней давности, когда российская армия в последний раз противостояла “двунадесяти языкам” на собственной территории. Исторические аналогии между кампаниями 1853-1856 и 1812 гг. поддерживались фигурой властителя во Франции: Наполеон III приходился племянником Наполеона I, и официальная пресса не упускала возможности отметить это сходство. Как показала О. Майорова, сопоставление военных кампаний было продуманным и регулярным приемом риторики николаевского правительства, призванной стимулировать патриотическую мобилизацию. Она задавалась манифестами Николая I и поддерживалась публицистами официальной газеты “Русский инвалид” (Maiorova 2010: 28-41; см. также Федотова 2022: 73-98).

Всегда стремившийся к злободневности поэт мог реагировать именно на этот публицистический контекст, а стихотворение *Так, служба!* – на идеологическое сопровождение Крымской кампании.

Такое предположение отчасти поддерживается – помимо приведенных выше рассуждений о политическом контексте и о проблеме датировки текста – риторикой самого стихотворения. Местоимение ‘той’ в первой строке “Так, служба! Сам ты в

той войне...” содержит имплицитное противопоставление ‘той’ и ‘этой’, то есть новой, современной, актуальной войны. Таким образом, разговор-воспоминание двух современников 1812 года разворачивается на фоне новой кампании, реактуализировавшей в общественном дискурсе память о народной войне.

Впрочем, эта гипотеза порождает новые вопросы. Как именно Некрасов мог относиться к неожиданному возрождению образности 1812 года во время Крымской войны и в какой смысловой ряд встраивал свое стихотворение? Было ли оно выражением недовольства политической риторикой? Разочарованием ходом кампании? Или неприятием героизации текущей войны за счет памяти о прошлом военном триумфе? Хотя мы склоняемся к последней гипотезе, к сожалению, точного ответа у нас нет²¹. Заметим однако, что предложенная датировка снимает вопрос как об общественном контексте стихотворения – в перспективе памяти о войне против Наполеона 1846 г. ничем не примечателен, – так и о долгой паузе между временем создания и публикации стихотворения.

Проблема датировки заставляет задуматься, почему в 1870-е гг. эти стихи вызывали у Некрасова отторжение. Традиционно считается, что нерелексивная жестокость и варварство в *Так, служба!* резко расходятся с некрасовскими образами народа. Однако среди поздних произведений поэта к рассматриваемому стихотворению находится “пара” – история “богатыря святорусского” Савелия, рассказанная в поэме *Кому на Руси жить хорошо* (глава *Крестьянка*). Савелий и его односельчане совершают не менее ужасающее преступление: они закапывают живьем управляющего, немца Фогеля. Савелий при этом не похож на изуверов из *Так, служба!*, однако различие задается не самим преступлением, а его контекстом. Важно, что Фогель лично угрожал свободе корежских мужичков, а те, в свою очередь, приняли за свое преступление суровое наказание. Крестьяне не только “взяли грех на душу”, но и собственными страданиями его символически искупали.

Такая концепция народа, заметим, сближает Некрасова с идеологами почвеннического движения, предложившими не идеализированное (как у ранних славянофилов), и не критическое (как, например, в прозе шестидесятников), а жертвенно-возвышенное понимание русского крестьянина. Такой крестьянин способен совершить жестокое преступление, но сам осознает его греховность и не просто принимает на-

²¹ Заметим, что у скептически настроенной части интеллектуалов использование образов кампании 1812 г. для риторического оправдания новой войны вызывало раздражение. См. об этом (Маюгова 2010: 37-41). Дневник В.С. Аксаковой фиксирует ее недоумение в связи с апелляциями к памяти о народной войне против Наполеона во время созыва ополчения: “Никто из порядочных людей не хотел идти в московское ополчение. Так ли оно призывалось, с тем ли намерением и при тех ли обстоятельствах было сделано, чтоб возбудить сочувствие? Конечно, нет. <...> Всякий отделивался от ополчения, как кто мог, и надобно было допустить совершенную дрянь; но в других некоторых губерниях приняли как-то простодушно, поверивши одному слову “ополчение”; вспомнили прежнее в 1812 году, и самые лучшие люди поспешили встать в ряды его” (Аксакова 1913: 101-102).

казание, но активно в нем нуждается, видя в нем возможность очищения от греха. Отклонения от социальной нормы в этой концепции не очерняют, а напротив, дополнительно подчеркивают мощь и величие русского народа.

Характерно, что сами почвенники отреагировали на стихотворение *Так, служба!* крайне негативно. Так, А. Григорьев в статье *Поэзия Некрасова* ("Время", 1862, 7) резко возражал Крестовскому, обвиняя Некрасова в искажении исторической правды и апеллируя, как и современники 1812 г., к калейдоскопическому взгляду на наполеоновское вторжение:

Критик <...> выписывает несчастное желчное пятно, под влиянием которого больной, раздраженный поэт взглянул на великую эпоху 1812 года, отметивши в ней по болезненному капризу только исключительный факт. <...> Вы совсем забыли, увлекшись, о чем это стихотворение. Ведь оно о "вечной памяти двенадцатом годе", которого голая правда <...> – не в этом исключительном факте, а в восстании великого народного духа, восстании, которое своею поэзией и мощью сглаживает несчастные и отвратительные эпизоды, неизбежные, к сожалению, во всякой народной войне. Припомните-ка гверильясос Испании... (Григорьев 1990: 284).

А в подготовительных материалах к *Дневнику писателя за 1877 год* Достоевский писал: "В Некрасове ошибки. Убиение французов – позор" (Достоевский 1984: 199).

Похоже, что Некрасов, в поздние годы если не сочувствовавший почвеннической идеологии, то по крайней мере отчасти двигавшийся в ее фарватере, перед смертью смотрел на свои ранние стихи как бы глазами Григорьева или Достоевского и внутренне соглашался с ними. Разочарование в собственном тексте, таким образом, испытывал не монолитный "певец народного горя", а поэт, чьи собственные взгляды и установки за десятилетия после создания стихотворения сильно эволюционировали. Как кажется, ссылка на Тучкова в этом ракурсе получает, наконец, правдоподобное психологическое объяснение: Тучков не мог способствовать созданию текста, но подходил в качестве фигуры, с которой можно было бы разделить ответственность за его 'несчастное' рождение. Умиравший Некрасов предпринял попытку гармонизировать, сгладить собственную эволюцию, выставя себя в качестве поэтического оформителя чужого исторического анекдота.

Впрочем, и без дискредитирующего текст автокомментария у *Так, служба!* не было шансов закрепиться в общественном сознании. Обычно "сильные" стихи Некрасова собирались из нескольких конкурирующих дискурсов, по-разному осмысляющих один и тот же феномен. Так у поэта получалось создать новое, необычное высказывание, которое имело шанс остаться в культурной памяти и в редких случаях переконфигурировать сами способы говорения о предмете. По сравнению с такими стихами, *Так, служба!* проще: текст взаимодействует всего с одним, но очень сильным и мифологизированным дискурсом и откровенно с ним не соглашается, грубо атакует его 'в лоб'. Как показывает история литературы, шансы на победу такого контрдискурсивного произведения – если это не шедевр огромной силы – в схватке с мифом исчезающе малы.

Сокращения

- БП: *Бородинское поле, или Смерть за честь. Исторический роман*, I-III, Москва 1839.
- Р1812: *Россиянка 1812 года, или Любовь молодого офицера на дороге в армию. Роман*, I-II, Москва 1836.
- СЦРЯ: *Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением Императорской академии наук*, III, Санкт-Петербург 1847.
- ТСЖВЯ: В.И. Даль, *Толковый словарь живого великорусского языка*, III, Санкт-Петербург 1880-1882.

Литература

- Аксакова 1913: В.С. Аксакова, *Дневник 1854-1855*, Санкт-Петербург 1913.
- Андерсон 2016: Б. Андерсон, *Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма*, Москва 2016.
- Аскиноф 2012: С. Аскиноф, *Московские французы в 1812 году. От московского пожара до Березины*, Москва 2012.
- Бессонов 2012: В.А. Бессонов, *Партизанская, народная или “малая” война в 1812 году: представления современников и оценка историков*, “Российская история”, 2012, 6, с. 81-92.
- Бороградский 1839: Н. Бороградский, *Путешествие в Смоленск, или Воспоминание 1812 года*, Москва 1839.
- Васютинский и др. 2012: А.М. Васютинский, А.К. Дживелегов, С.П. Мельгунов (сост.), *Французы в России: 1812 год по воспоминаниям современников-иностранцев*, I-III, Москва 2012.
- Велижев, Лавринович 2003: М.Б. Велижев, М.Б. Лавринович, “Сусанинский миф”: становление канона, “Новое литературное обозрение”, 5, 2003, с. 186-204.
- Вишленкова 2011: Е.А. Вишленкова, *Визуальное народоведение империи, или “Увидеть русского дано не каждому”*, Москва 2011.
- Гаспаров 1999: Б. М. Гаспаров, *Поэтический язык Пушкина*, Санкт-Петербург 1999.
- Герасимов 1833: [А. Герасимов], *Добромирский и президент Шукайло, или Французские войска в Белоруссии в 1812 году*, I-II, Москва 1833.

- Гиппиус 1966: В.В. Гиппиус, *Некрасов в истории русской поэзии XIX века*, в: В. Гиппиус, *От Пушкина до Блока*, Москва-Ленинград 1966, с. 225-275.
- Глинка 1821: [Ф. Глинка], *Письма русского офицера о военных происшествиях 1812 года, сочиненные Федором Глинкою*, Москва 1821.
- Глинка 1836: [Ф. Глинка], *Записки о 1812 годе Сергея Глинки, первого ратника Московского Ополчения*, Санкт-Петербург 1836.
- Глухарев 1836: И.Н. Глухарев, *Графиня Рославлева, или Супруга-героиня, отличившаяся в знаменитую войну 1812 года. Историко-описательная повесть XIX столетия*, I-II, Москва 1832.
- Григорьев 1990: А.А. Григорьев, *Сочинения в 2 т.*, II, Москва 1990.
- Давыдов 1982: Д.В. Давыдов, *Военные записки*, Москва 1982.
- Достоевский 1984: Ф.М. Достоевский, *Полное собрание сочинений в 30 т.*, XXVI, Ленинград 1984.
- Живов 2008: В.М. Живов, *Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и поиски национальной идентичности*, "Новое литературное обозрение", 2008, 3, с. 114-140.
- Загоскин 1902: М.Н. Загоскин, *Рославлев, или русские в 1812 году. Исторический роман*, Москва 1902.
- Зайончковский 1977: П.А. Зайончковский (науч. рук., ред. и введ.), *История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях*, II/1 (1801-1856). Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах, Москва 1977.
- Зорин 2001: А.А. Зорин, *Кормя двуглавого орла... Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII-первой трети XIX века*, Москва 2001.
- Зотов 1832: [Р.М. Зотов], *Леонид, или Некоторые черты из жизни Наполеона*, I-IV, Санкт-Петербург 1832.
- Кайданов 1829: И.К. Кайданов, *Начертание истории государства Российского*, Санкт-Петербург 1829.
- Киселева 2004: Л.Н. Киселева, *К формированию концепта национального героя в первой трети 19 в.*, в.: *Лотмановский сборник*, III, Москва 2004, с. 69-92.
- Кондратенко 2012: А.И. Кондратенко, *"Листки воспламенительной силы" (Литературное участие Ф.В. Ростопчина в информационной войне с Наполеоном)*, в: С.В. Денисенко (отв. ред.), *Реалии и легенды Отечественной войны 1812 года: Сборник научных статей*, Санкт-Петербург–Тверь 2012, с. 71-81.

- Крестовский 1861: В. К[рест]овский, *Стихотворения Н. Некрасова*, “Русское слово”, 1861, 4, с. 53-74.
- Макеев 2012: М.С. Макеев, *О датировке и источнике стихотворения Н.А. Некрасова “Так, служба! сам ты в той войне...”*, в: *Памяти Анны Ивановны Журавлевой. Сборник статей*, Москва 2012, с. 532-537.
- Мартынов 2012: Г.Г. Мартынов (сост., подгот. текста и примеч.), *Отечественная война 1812 года глазами современников*, Москва 2012.
- Михайловский-Данилевский 1843: А.И. Михайловский-Данилевский, *Описание Отечественной войны 1812 года*, III, Санкт-Петербург 1843³.
- Мускатблит 1912: Ф.Г. Мускатблит (сост.), *1812 год в карикатуре*, Москва 1912.
- Некрасов 1934: Н.А. Некрасов, *Полное собрание стихотворений*, ред. текста и примеч. К. Чуковского, I, Москва-Ленинград 1934.
- Некрасов 1981: Н.А. Некрасов, *Полное собрание сочинений и писем в 15 томах*, I, Ленинград 1981.
- Парсамов 2012: В.С. Парсамов, *Конструирование идеи народной войны в 1812 году*, “Новое литературное обозрение”, 2012, 6, с. 69-94.
- Пюибюск 1833: [Пюибюск], *Письма о войне в России 1812 года, сочинение Пюибюска, генер.-обер.-провиантмейстера войск наполеоновых*, пер. А. Рюмина, Москва 1833.
- Радожицкий 1835: И. Р[адожицкий], *Походные записки артиллериста, с 1812 по 1816 год. Артиллерии полковника И... Р..., I (1812-й год. Война в России)*, Москва 1835.
- Ростопчин 1992: Ф. Ростопчин, *Ох, французы!*, Москва 1992.
- Сазова 2012: Л.И. Сазова, *Сказание о Наполеоне-антихристе: старообрядческий вариант антинаполеоновского мифа*, “Славяноведение”, 2012, 2, с. 42-61.
- Сегюр 2014: Ф.-П. де Сегюр, *История похода в Россию*, Москва 2014.
- Тартаковский 1980: А.Г. Тартаковский, *1812 год и русская мемуаристика (опыт источниковедческого изучения)*, Москва 1980.
- Тучков 1881: П.А. Тучков, *Главные черты моей жизни. 1817-1824*, Санкт-Петербург 1881.
- Успенский, Федотов 2019: П. Успенский, А. Федотов, *Изобретение социальной поэзии: от пения цыганок к “Тройке” Некрасова*, в: *Складчина: сборник статей к 50-летию проф. М. С. Макеева*, Москва 2019, с. 214-242.

- p>Успенский, Федотов 2024: П. Успенский, А. Федотов,
- Как написать статьи о публичной женщине? "Когда из мрака заблужденья..."*
- Н. Некрасова на дискурсивной карте эпохи, "Slavic Literatures", 2024, 149, с. 1-31.
- Федотова 2022: М.С. Федотова, *Миф о Севастопольской обороне 1854-1855 гг. в культурной памяти Российской империи*, Санкт-Петербург 2022.
- Чудинов 2012: А.В. Чудинов, *С кем воевал русский мужик в 1812 году? Образ врага в массовом сознании*, в: *Французский ежегодник 2012: 200 лет Отечественной войны 1812 года*, Москва 2012, с. 336-365.
- Чуровский 1837: [А.И. Чуровский], *Ротмистр-чернокнижник, или Москва в 1812 году. Роман из походных записок артиллерийского полковника, собранных Н. Вельтманом*, I-III, Москва 1837.
- Шкловский 1928: В.Б. Шкловский, *Матерьял и стиль в романе Льва Толстого "Война и мир"*, Москва 1928.
- Ящук 2022: Е.А. Ящук, *Творчество М.Н. Загоскина в процессе формирования русской национальной идеологии*, Tartu 2022.
- Hobsbawm, Ranger 2012: E. Hobsbawm, T. Ranger (eds.). *The Invention of Tradition*, Cambridge 2012.
- Maiorova 2010: O. Maiorova, *From the Shadow of Empire. Defining the Russian Nation through Cultural Mythology, 1855-1870*, Madison (WI) 2010.

Abstract

Andrey Fedotov, Pavel Uspenskij

The Reverse Side of the People's War according to Nikolay Nekrasov: the Poem Yes, Soldier! You in That War... within Discourses on the War of 1812

This article analyzes Nikolai Nekrasov's poem *Yes, Soldier! You in That War...* (*Tak, služba! sam ty v toj vojne...*, published in 1856), which addresses the War of 1812. The narrative centers on a peasant recounting his involvement in the brutal murder of a French captive family, bringing to the fore the theme of excessive peasant violence during the people's war. The poem is examined in the context of various discourses surrounding the 1812 campaign – such as participants' memoirs, Mikhail Zagoskin's novel *Roslavlev*, and official accounts of the Napoleonic invasion. Against the backdrop of dominant portrayals of the 1812 war, Nekrasov's poem reconsiders and problematizes widely held conceptions of the Russian people's character. The article also offers a detailed discussion of the poem's dating, sources, and Nekrasov's own negative attitude toward the work.

Keywords

Nikolaj Nekrasov; Poetics; War of 1812; People's War; War Memoirs; Crimean Campaign (1853-1856); Nation; Russian Peasants.